

Посвящаю эту книгу маме
и благодарю Абдулаеву Ю.
за помощь и терпение
в трудные дни

ПРОЛОГ

Имя мое Фиолент, и однажды я понял, как сильно устал от жизни. Нет, не от жизни вообще. А от такой, какая была у меня там, внизу. Какая была у всех нас.

Вы не слышали такого имени — Фиолент? Да что говорить, оно и у нас было редким: с трудом вспомню хотя бы пару людей с одинаковыми именами. Было не принято? Или фантазии хоть отбавляй? Нет, все гораздо проще. Теперь-то и я знаю, что все — в принципе все — проще. Ну а тогда...

Ладно, закончим с именем, чтобы не мешать рассказу. Не помню, кто мне его дал. Когда я вышел в мир, мои *недалекие* отправились в Кладезь — так делали у нас все. Эта служба называлась слишком дико, чтобы произносить вслух: что-то вроде «Кладезь вновь воссозданных и восстановленных вариаций предписания природы человеческой», в общем, чушь на постном масле. Недалекими у нас называли всех, кто жил под одной крышей; в моем случае это были люди, по чьей воле и чьими стараниями я вышел в мир — мама с папой, но многие включали в этот круг и тех, благодаря кому вышли в мир сами их *недалекие*, и даже соседей из ближайших дворов. Едва среди них появлялось прибавление, как начи-

нались первые хлопоты: дойти до Кладезя, оставить запрос. Хлопоты приятные, волнительные: никогда ведь не знаешь, что этот Кладезь выдаст.

Моим маме и папе выдали официальный конверт, вскрыв который, они и увидели имя. Мое имя. Кто дал — они и не помнили, а я никогда не знал: почему Фиолент, почему не другое? У нас ведь много имен, и никто не знает, что все они означают. Это потом мне рассказали, что в далекой древности были другие — ветхие, как мы их называли — имена, которые имели смысл: «гордый», «статный», «смелый»... У нас же, внизу, все просто: Фиолент. И это означает Фиолент, ничего больше.

Одно знаю точно: будь у меня ветхое имя, оно точно не означало бы «скромный». Скорее уж «сильный» — все, кто со мной водился, знают, а кто не водился — так поэтому и не водились. Ну и «красивый» — так девчонки говорят, а им-то, конечно, виднее. Я любил садиться в свой большой автомобиль с открытым верхом и катать их. Красавицам это нравилось, да и некрасавицам тоже. Некрасавица в нашей компании была только одна, и это точно не моя машина! Все любили ее, и никто не завидовал мне — это потом я узнал, что такое зависть. Позже. И выше.

Такая машина не то чтобы считалась у нас редкостью — при желании любой бы мог владеть ей. Я точно знаю, что в городе есть места, где стоят такие же. Но никто не хотел, кроме нас, нескольких отщепенцев. Там, внизу, все живут в своих двухэтажках — домиках, которыми застроен город. Рождаются и отмирают в них, а в промежутках между этими двумя событиями выращивают что-то во дворах. И вечерами сидят на складных стульчиках лицом к небу, любуются им в окружении кустов и цветов под бледно-синим полотном неба, нависшего над нашим горо-

дом. Так живут все, и наши молодые жили так, и молодые с жильцой, и пожившие, и пережившие. И я, бывало, полонил наши грядки, пока не хотелось упасть без сил. Любовался бледными цветами, проросшими на тонких стебельках из рыхлой, сухой земли — они тянулись к щекам моим, к носу, словно ластившаяся кошка. Я любил их, лелеял и не жалел для них сил, как любил все плоды труда нашего — меня и людей, подаривших мне эту жизнь, этот город. Все было невероятно вкусно — все эти овощи, фрукты, выросшие из косточки, разросшиеся из маленького неокрепшего стебелька до сильного ствола, стремящегося ввысь, под синее полотно.

Вот только одного я не любил — смотреть в него, полотно это. В чем было удовольствие для города — застыть, замолчать, уставив взгляд ввысь? Я жил в горизонтальном мире, смотрел вперед и по сторонам, хотя и знал, что впереди лишь *линия возврата*, а справа, слева — бесконечные дворы, прямые улицы, ровные квадратные перекрестки одинаковых жизней, одинаковых домов, одинаковых *небосмостров*. И лишь где-то там, далеко за ними — высокие обрывы и бездонное, равномерно колышущееся, как диафрагма спящего, море.

Впрочем, это пешком — далеко, а на машине... Мы знали о городе, где родились, все — впрочем, все, ну, или почти все, что можно о нем знать, теперь известно и вам. Огромный, огромный город, словно разделенный спущенным сверху гигантским зеркалом на две равные и одинаковые... нет, почти одинаковые половины. Если представить — а кто, кроме нас, фантазеров, еще мог такое выдумать? — что город вдруг станет возможно согнуть по разделительной линии, его две части совпадут друг с другом, накроют друг друга, сложившись дом к дому,

дворик к дворику, маленькая улочка к точно такой же маленькой улочке, а линия обрыва — к линии обрыва: что выдуманная, что настоящая, возле которой мы так любили стоять, глядя в даль. Или в то, что ею казалось.

Но пожелай мы назвать ту самую линию, по которой столь просто «сложили» город, нам бы не пришлось делать этого, ведь имя уже было, и, подзреваю, происходило оно все из того же Кладезя — и вправду, кто еще мог придумать такое: Широкоморское шоссе? Центральная ось, магистраль города. Приди он в движение — продолжим фантазию — наверняка бы вращался вокруг этой оси, как мясо на шампуре. О, это было еще одним излюбленным развлечением наших уютных зеленых дворов!

Мы просто знали, что шоссе Широкоморское — и все. Но почему шоссе? Да и вообще, что это слово значило? Ведь других шоссе в нашем городе не было, а бесчисленным улочкам, отходившим от него, никто не давал названий. По ширине они были такими же, что заставляло усомниться в справедливости первой части названия, на них стояли — и, я уверен, стоят — одинаковые дома.

Но что впечатляло — так это его протяженность. Одной стороной Широкоморское шоссе, оправдывая вторую часть своего названия, упиралось в море. Ведь город омывался морем с двух сторон, как я и говорил, и в точке, где линии обрыва и воды должны были слиться, шоссе вдруг оборачивалось лестницей, сужавшейся ближе к воде. Спустившись по ней, можно было попасть на длинный мол и долго идти по узенькой тропке, обложенной по краям валунами, между двух морей. На самом-то деле море, конечно, одно, но как Широкоморское шоссе режет надвое мой город, так и узкий бетонный мол вспа-

рывает водную гладь. Смотреть налево, когда идешь к маяку, было приятней — то было море для отдыха; в нем купались. Его и называли так: Левое море, считалось, что город, словно стрела, устремляется в море, хотя, если смотреть по карте, мол с маяком находились внизу, а значит, Левое море должно было быть Правым... Когда я говорил об этом нашим горожанам, те лишь пожимали плечами, особенно пожившие и пережившие. «Какая разница, — говорили они мне, — где в самом деле право или лево, когда так хорошо и спокойно жить?» Я неуверенно кивал, пытаюсь согласиться, хотя и не понимал, что это значит — жить беспокойно. Разве жил когда-нибудь наш город беспокойно?

— А в Башне? — спрашивал я вскоре после того, как появился. — В Башне живут беспокойно?

— В Башню приглашают лучших. Только они знают, как там живут. Но они не расскажут. Потому что мы их больше не увидим.

На этом разговор о Башне прекращался — никто не любил говорить о ней, да и что обсуждать то, о чем никто не знает. Вот где точно царило спокойствие, и о том в городе знали все, — так это в Правом море. Если Левое море предназначалось для обычного отдыха, Правое было для отдыха вечного. Пожившие и пережившие, закрыв в последний раз усталые глаза, отправлялись напрямик туда — летели с Обрыва прощания, под крики напутствия и благодарности. Прощания сопровождалось особым, траурным небосмотром, длившимся столь долго, что я не выдерживал и убегал. Даже выращивать цветы и вспахивать огороды переставали, и говорить друг с другом — тоже. Останавливалось все. Я уходил к Левому морю, чтобы скорее забыть о Правом. Я еще только начинал жить, и мне не хотелось думать о том, что

когда-нибудь... Да и теперь мне не хочется думать об этом.

В известном смысле мол был границей между живым и мертвым, и, идя по нему, можно было размышлять о бренности людей, о приходящих и уходящих, накатывающихся, словно волны, наших жизнях... Но никто не думал. Все знали: станешь пережившим — и тогда поймешь. Пережившие всегда говорили: «Уходить не страшно... Меня ждет море, а я уже жду его...» — вот что они говорили. Они уставали от жизни и закрывали глаза — *отмирали*, как говорили у нас. А у вас говорят так? Кто знал, что я устану раньше — гораздо раньше, чем стану пережившим, не говоря уже пережившим... А отмереть, не достигнув последней стадии, как вы, наверное, знаете, невозможно. Что оставалось? Только веселиться.

I. ГОРОД

Вообще, пройти по молу между морями можно хоть до самого конца, вот только смысл? Вряд ли это путешествие открыло бы и без того нелюбознательным нашим людям что-то новое и удивительное. Все знали, что рано ли, поздно ли ты упруешься в высокий, в три человеческих роста, забор, за которым возвышается гигантская глыба каменного маяка. А дальше можно стучать в проржавевшую дверь, кидать в нее камни, хоть биться лбом — никто тебе не откроет. Смотритель — для того, чтобы смотреть, а не вести беседы с посторонними. Да, в маяке живет смотритель. Разве я еще не говорил?

Что можно рассказать о человеке, которого никто и никогда не видел — только тень, силуэт в его высоком окне, словно парящем над морем и городом? Но, справедливости ради, мало кому была интересна эта загадка. Город жил своей собственной жизнью, утопая в зелени дворов, трудах, коротких небосмотрах. Какое ему дело до смотрителя, живущего своей? А у нашей веселой компашки было полно более интересных занятий, чем караулить человека, избравшего себе одинокую, тихую жизнь. Быть может, он и выходил, в каком-нибудь сером плаще, с седой

бородой до земли — почему-то мне всегда казалось, что это должен быть человек *переживший*, — медленно шел по мокрому молу, бурча себе что-то под нос, поднимался по лестнице, ступал на Широкоморку, щурился... Где-то же он должен добывать себе еду? Вряд ли там, за забором, у подножия маяка росли огурцы и капуста, да и вообще наши городские дела совсем не вязались в наших головах с его отшельническим образом... А это значит, что смотритель выходил в город. Шел по тем же, что и мы, улицам, проходил мимо наших калиток, ездил в наших троллейбусах, держась за те же поручни, сходя на тех же остановках. Да, о смотрителе нечего и говорить... Так думал я внизу. Не сомневался.

Иногда я пытался представить, глядя на далекую вышку маяка (ее верхушка была видна отовсюду, почти из любой точки города, из любого двора), что он видит, куда смотрит, за чем наблюдает? На первый взгляд, все просто: ведь маяк стоит на самом краю мола, значит, в море? Значит. Но не в море. В городе были причалы: навесные лестницы с левого обрыва вели к морю, и все, кто хотел, могли взять лодочку и прокатиться по воде. Доплывали и до мола, сбавляли ход, осторожно шли к маяку. И возле него самого уже замуривались, словно бы никто до них не бывал здесь, не пытался обойти маяк. Но, открыв глаза, они видели привычную картину: забор, окружавший маяк, удлинялся, вытягивался, и за одним маяком появлялся, словно выскочив из-под земли (или из воды, все же море!), новый, точно такой же маяк. Никто не успевал опомниться, как обнаруживал вдруг, что это не справа, а уже слева мол — вместе с маяком, забором и валунами, и не позади, а впереди по курсу огромный наш город, белые каменные ступени к Широкоморскому шоссе. Никто не успевал

понять, уловить миг, когда же она была пройдена — линия возврата.

Все объяснялось просто: уловить этот миг невозможно. Все знали про линию вокруг города — это была граница, возвращавшая нас каждый раз домой, словно блудных сыновей, сбившихся с правильного пути. Люди жили вдали от линии — с трех сторон она проходила по морю, и только с одной — на севере — по суше. До северной границы не ходили пешком — далеко, да и незачем. Возле нее не строились, да в нашем городе не строились вообще: все жили обща со своими недалекими, в своих зеленых дворах. Возле северной границы и стояла та самая Башня.

Ходили слухи, что смотритель в ней бывал. И — единственный из всех живущих — вновь возвращался в город. Чтобы спрятаться в своей крепости. Отмирал ли смотритель? — что за вопрос, в конце концов, ведь все люди отмирают — и кто сменял его? Откуда этот «кто-то» появлялся? Такие вопросы были слишком сложны в нашем простом и, в общем-то, добром городе и редко кого занимали. До поры меня интересовало лишь одно: что он видит там, на линии разрыва, бесконечно всматриваясь вдаль? Такой же маяк напротив, только пустой? Или море, как все мы, — бескрайнее море за маяком, которое не переплыть, не изведать? Я долго смотрел вдаль, пытался представить. И не представлял.

Среди тех, кому вообще было дело до смотрителя, ходили слухи, что он видит то, что за линией. Те, кто такое говорил и в это верил, были все как один похожи друг на друга: нервные, худые, они ходили в старых одеждах и обгрызали ногти, постоянно озирались по сторонам, избегали транспорта, да и вообще не появлялись лишней раз на улицах. В хозяйстве от таких, как правило, тоже толку было

немного. Эти люди твердили, что за линией возврата есть некий другой мир, в который нас не пускают и в который нам не особо-то надо... «Но сам факт», — говорили они, повышая на этих словах голос. Говорили о том, что секретные тоннели под землей ведут в другие города, что мир не оканчивается Севастополем... Мне было жаль этих людей. Им стоило бы следить за собою, тогда, возможно, и мысли пришли бы в порядок. Один из таких жил по соседству с нами, через два дома. «Смотритель видит, что там дальше», — бормотал он. «Конспиронавт хренов», — отмахивались мои недалекие.

Однажды он исчез, и я спросил недалеких, что с ним. Ответ папы меня удивил.

— Его пригласили в Башню.

— Но туда же зовут только лучших! — помню, воскликнул я. — Самых достойных.

— Что ж, — пожал плечами папа. — Значит, и среди конспиронавтов такие есть.

Признаться, моим недалеким не было дела до Башни — как и всему городу в целом. Никто не стремился быть приглашенным и не завидовал им. Башня была данностью, о которой каждый узнавал, приходя в этот мир, и которую уносил с собой, падая с обрыва в море мертвых. Башня существовала в абсолютном, непоколебимом измерении, в отличие от всех нас, горожан, появлявшихся и исчезающих. Такой же данностью был и маяк смотрителя. Мне казалось, что это просто красиво: в городе есть маяк, а в маяке — смотритель. Ведь город начинался здесь. Как световой пучок из одной точки, вырывался он в реальность, утверждал себя, раскидывался во все стороны.

— А вдруг это Точка сборки? — сказал я однажды друзьям. — Весь город собирается здесь, весь наш мир стремится к ней, вливается в нее.

Мы сидели на молу и кидали камешки в воду, соревнуясь в скорости. Справа от меня полулежала, маня своим прекрасным телом, красавица Евпатория, и ветер трепал ее золотистые волосы. Крепыш Инкерман стоял за моей спиной и замахивался.

— Конечно, стоя ты меня уделаешь, — заметил я. — А ты попробуй сидя.

Помню, как он увлекся тогда — даже не стал кидать камень, присел рядом, взволнованно заговорил:

— Я, кажется, понял тебя. Это как выключить лампу в погребе, да? Ведь свет — он не принадлежит себе, его хозяйка — лампа. Она как бы выпускает его погулять. Ну, как тебя в детстве мама.

Мама была главной из всех недалеких, сколько бы их ни было; ближе к ней стоял папа, а уже вокруг них — у кого были — все остальные. Со словом мамы не спорили, а если и пытались, это было бесполезно: не пустила — значит, не пустила. Разговор с мамой — очень короткий, даже у папы. Так уж у нас было принято.

— Мальчики, вы такие глупости говорите, — развернулась к нам Евпатория. — Но такие красивые глупости...

— Была бы здесь Фе, она б поддержала, — заметил я.

— Была бы здесь Фе, ты говорил бы другие глупости, — рассмеялась девушка.

— Тори, послушай. — Инкер напрягся, словно боясь потерять мысль. Или, вернее, свет своей мысли.

— Вся во внимании, — Евпатория расплылась в улыбке.